

ДОГМАТЫ ПОЛЕМИКИ

Я не читал первого тома труда А.И. Солженицына «Двести лет вместе», не хотел тратить последние года жизни на разбор Монблана фактов. Знаю по опыту полемики 70-х и 80-х годов, что факты под пером Александра Исаевича выглядят иначе, чем я их вижу. Однако мне прочли по телефону несколько страниц, посвященных письмам «четы Померанц», и я удивился. Потом друзья принесли книгу, и я еще раз удивился. Удивляет то, что в центр очередного этапа полемики со мною (потому что это именно полемика, а не «протягивание рукопожатия») попали только неопубликованные письма, никем, кроме Александра Исаевича, не читанные? Судя по объяснению на с. 460, в других моих текстах Солженицын не мог уловить единства. Он пишет обо мне: «В своей манере, ускользающей от четкости, когда множество параллельных рассуждений никак не отолюются в строгую ясную конструкцию...»

Я действительно удерживаю в уме несколько параллельных (и не только параллельных) рассуждений и скорее даю направление к синтезу, чем простое однозначное решение. Я передаю читателю больше открытых вопросов, чем ответов. Александру Исаевичу это не нравится, и он берет в центр исследования текст, где чувство боли делало мысль прямолинейно реактивной: это ему понятнее и кажется моим без всяких выкрутасов; на самом деле, в той мере, в которой Солженицын прав, он берет то, в чем я сгоряча уходил от своей глубины, поддавался толчку извне.

Как-то покойный Ю.Я.Глазов спросил меня: в чем суть твоего спора с Солженицыным? Я ответил: «Солженицын знает, как надо». «Но это хорошо, - возразил Глазов. - Я тоже знаю, как надо». А я не знаю, как надо (в галичевском понимании этих слов), я отвергаю прямолинейные решения сложных вопросов. В нашем споре сталкиваются два типа сознания. Не этнических! В Израиле полно людей, знающих, как надо, а в России хватало мыслителей, более сложных, чем Солженицын: Бердяев, Федотов, Гершензон, Франк (думаю, что делить веховцев по пункту 5 не стоит). Я продолжаю веховскую критику революционного «так надо», а Солженицын — революционную страстную прямолинейность, меняя революционный плюс на минус и минус на плюс, но сохраняя структуру революционной мысли.

Даже если бы я хотел разобрать конкретные замечания о моих письмах и противопоставить толкованию Солженицына мое, авторское, я не могу это сделать. Прошло 35 лет. Память сохранила только пару обрывков. Помню, что хотел выразить свое чувство боли от некоторых страниц романа «В круге первом» и предлагал начать диалог по всем затронутым вопросам, чтобы по возможности договориться и не бить по своим. Но боль меня душила, и я не мог этого преодолеть. Поэтому Зинаида Миркина сопроводила мое письмо своим, где наши общие огорчения изложены иначе, мягче. Легко было противопоставить нас друг другу, и Александр Исаевич этим воспользовался. Тогда мы опять написали по письму. Я признал какую-то свою ошибку и предлагал продолжить разговор «во имя нашего общего дела». Александр Исаевич (очень благодаривший Зинаиду Александровну за первое письмо) на второе не ответил ни мне, ни ей.

Стиль полемики, который Александр Исаевич (может быть иронически) назвал бархатным, не сразу мне дался. Только в 1970 г., вдумываясь, почему Достоевский мало кого убедил своими «Бесами», я сформулировал догмат полемики: «Дьявол начинается с пены на губах ангела... Всё рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца». В полемике 70-х годов я упорно, в мучительной борьбе с собой, смахивал с губ эту пену и сформулировал второй догмат: «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает

цивилизацию» . Верный догмату, я в 90-е годы дважды выступал в печати против хамской полемики с Солженицыным (признаться, без надежды на взаимность с его стороны).

Этих догматов у меня еще не было в 1967 году, и я бы охотно перечитал свои письма и подумал, где погорячился, потерял чувство меры, а что и сегодня готов отстаивать. Но Александр Исаевич не опубликовал переписку (я бы дал разрешение на это), он дает только свой комментарий.

В «Записках гадкого утенка» я рассказал, что черновики наших писем и письма Солженицына были в мае 1985 г. изъяты при обыске. В 90-е годы я пытался их получить обратно, но мне ответили, что при реорганизации КГБ—ФСБ лишние бумаги сожгли. Александр Исаевич ссылается на документ, который держит у себя в ящике письменного стола, и требует поверить в полноту и объективность своего толкования. Опыт обсуждения «Образованщины» и «Наших плюралистов» не располагает к вере.

Впрочем, я не очень огорчен таким поворотом дела. В 70-е годы, после «Образованщины» , я попытался всунуть все цитаты, использованные Солженицыным, в лоно авторского текста. Вышло более 80 страниц, увы! очень скучных. Это мне в один голос сказали все друзья. Я выкинул свой труд и никогда больше не доказывал, что автор -не верблюд. Пусть меня называют верблюдом: брань на ворота не виснет. Те, кто читает мои эссе, сами увидят разницу между портретом и карикатурой. А тех, кто еще не читал, я приглашаю почитать.

К сожалению, первое издание «Записок» (1998), где есть глава, посвященная спору с Солженицыным, уже разошлась, а второе издание, в лучшем случае, выйдет через несколько месяцев. Поэтому привожу несколько страничек (272, 274-281).

Я раскрыл роман «В круге первом» с совершенным доверием. Незадолго до этого читал «Раковый корпус» . Вторая часть там крепче первой. Особенно захватил конец. Я плакал над обезьяной, которой злой человек насыпал в глаза табак. Злой человек! Не кулак, не вредитель, не империалист! Просто злой человек...

И вдруг я почувствовал себя как тогда, когда у меня украли орден и артиллерийский капитан объяснил, что так и надо. Опять меня выпихивали - уже не из советской России, а из России будущего. Я интеллигент, и народ не со мной. Я еврей, и на мне несмываемая вина. А как же злой человек, бросивший в глаза обезьяны табак? Просто злой человек - не классовый враг, не вредитель, не империалист? В «Раковом корпусе» разрушались все категории, оставались только люди, добрые и злые, люди перед лицом смерти. А в «Круге первом» опять категории, и не такие уже новые. Примерно те, которые пошли в ход с конца тридцатых годов; когда классовых врагов больше не стало, ликвидировали, — и понадобились новые жертвы; и ненависть времен Вильгельма и Николая, после зигзага в сторону войны гражданской, вернулась на свою блевотину, к национальной розни. Кто же все-таки бросил табак в глаза обезьяне? Не кулак, не империалист - но может быть еврей? Безродный космополит? Беспочвенный интеллигент?

Страница за страницей передо мной раскрывался характер Солженицына. Текст всегда выдает автора. Вот сцена, в которой он смотрит на мир глазами интеллигентной заключенной, моющей лестницу для прокурора. Здесь он сам интеллигент. А вот - глазами провинциала - смотрит на столичную образованщину (слова «образованщина» еще не было, но отношение - уже было). Вот создается миф о народе; а вот этот миф становится под вопрос. Видимо, уступка друзьям; еще не было совершенной уверенности в себе, бросались в глаза отступления, переделки. Но сквозь все уступки просвечивала авторская воля (потом она развернулась в «Глыбах»). Мелькало недоброжелательное отношение к евреям; и сразу же подчеркивалась объективность автора, его претензия исследовать национальные страсти с

высоты Божьего престола. Я передаю свои давние впечатления, но они довольно свежи во мне.

Особенно врезались в сознание две сцены. Одна — какое-то тяжелое школьное воспоминание. Я чувствовал старую рану, нагноившуюся, воспаленную; застарелый комплекс, заставивший писателя заслонить что-то слишком мучительное натянутой выдумкой. К этой сцене я еще вернусь: она вызывала во мне двойственное чувство, одновременно и боли за мальчика, когда-то глубоко страдавшего, и отвращения от фальши. Зато конец подействовал совершенно однозначно; я с досадой отшвырнул книгу. Нержин дарит томик Есенина дворнику Спиридону. Почему? Допустим, друзья Нержина, Сологдин и Рубин, Есенина не любят (то есть, скорее всего, не очень любят; не так, как хотелось страстному поклоннику). Но в шарашке оставались другие интеллигенты. Отчего не оставить книгу им всем? Кого-то бы это непременно порадовало. Зачем дарить стихи дворнику - на самокрутки? В реалистической ткани романа торчит политический плакат: я с народом, значит, я прав. Мы с народом любим Есенина. А те, кто недостаточно любит Есенина, кто предпочитает Блока, Мандельштама, Пастернака, Ахматову, - столичные снобы.

Потом снова и снова стал возвращаться к школьной сцене. Что же там на самом деле было? От чего такой мучительный след? Это произошло между 12-летними школьниками. То есть в 1930 году. А сейчас 1967-й... И до сих пор не забыть! И класть на весы справедливости против другой чаши, на которую легла травля космополитов, расстрел еврейских писателей, истребление еврейских книг и пластинок, дело врачей-убийц, фактическое восстановление процентной нормы и прочее, и прочее, и прочее - с 1943 года по сей день...

Ройтману не спится. Один за другим печатаются антисемитские фельетоны. Но совесть обличает: он сам травил русских. Когда-то, в южном городе, где евреи составляли чуть ли не большинство, они травили Олега Рождественского. Травили, потому что Олег стоял за свободу слова: говорить, мол, все можно. Его спросили: значит, и такой-то (забыл имя плохого мальчика) мог назвать такого-то жидом? Олег настаивал: говорить все можно. И вот за это только его две недели терзали на собраниях, грозили исключить из школы... Невольно встает вопрос: а что же сделали с тем, плохим мальчиком? Если хорошего Олега, никого не обидевшего, две недели травят... Но Ройтман плохого мальчика не вспоминает. В структуре романа релевантен (как говорят структуралисты) только мальчик, хороший до голубизны, плакатно идеальный Олег Рождественский (в самом имени - и народность, и православие, и даже намек на самодержавие). Почему этот маленький христианин защищает право оскорблять товарищей (это, кажется, не по Евангелию)? Не знаю. Но Олег рисуется каким-то голубым ангелом. Примерно как убиенный царевич Димитрий на картине Глазунова. Солженицыну нужна абсолютно невинная жертва. И притом жертва евреев. Каким образом 12-летние дети могли грозить товарищу исключением из школы? Не их это дело, а директора. Но, видимо, директор не был евреем, и поэтому Ройтман его не вспоминает. И потом, откуда взялось чуть ли не большинство класса? Все они (еврейские мальчики) были дети врачей, адвокатов, а порою и лавочников, но рьяно выступали как идеологи пролетарского интернационализма... Очень может быть, но все-таки где это было? В бывшей черте оседлости? Там масса евреев - бедный ремесленный люд: сапожные подмастерья, портные, возчики, столяры... Их в романе нет. А если еврейская община состоит главным образом из врачей и адвокатов, то дети их составляют явное меньшинство и травить местных пацанов не могут. Даже если бы очень хотели. Так же как я, даже если бы очень хотел, не мог травить огольцов из Бутиковского переулка. Травили они меня. В одном километре от Кремля, в самые ленинские, интернациональные 20-е годы. И никакой управы на них не было.

На всякий случай напоминаю читателю, что разница в возрасте между мной и Александром Исаевичем - 9 месяцев, То есть никакая. Мы жили и учились в одно и то же время. А если

была разница между Москвой и Ростовом, то вряд ли советская интернациональная власть была в Москве менее эффективна, а ростовские пацаны — меньше склонны травить тех, кто послабее. Ростов - вора́м отец, и против детей адвокатов стоял не Олег Рождественский, а пацаны, которым палец в рот не клади...

В эти годы антисемитизм среди взрослых подавлялся с усердием, превосмогавшим разум. Я знаю случай, когда заведующая балетной школой была уволена (и школа развалилась) из-за невинной шутки про еврейковатый суп, хотя ничего обидного для евреев в этой шутке нет. Но все это было со взрослыми. А дети — совсем другое дело. Помню это своими вихрами. И могу подтвердить опытом кубанско-москальских отношений, случайно открывшимся мне в 1953 году.

В 1953 году я начал работать учителем в станице Шкуринской (бывшего кубанского казачьего войска), и вот оказалось, что некоторые школьники 8-го класса не говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть. Кубанцы - потомки запорожцев, их родной язык - украинский, но за семь лет можно было чему-то выучиться... Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников и посоветовать им следить за чтением детей. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Допустим, Горкина. Мать ответила мне на нелитературном, с какими-то областными чертами, но бесспорно русском языке. С явным удовольствием ответила, с улыбкой. «Так вы русская?» - «Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду» . - «Отчего же не выучили дочку своему родному языку?» - «Что вы, ей проходу не было! Били смертным боем!»

Оказалось, что мальчишки лет пяти, дошкольники, своими крошечными кулачками заставили детей переселенцев балакать по-местному. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене - по зубам. По-русски только на уроке, учителю. Запрет снимался с 8-го класса. Ученики старших классов - отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Действительно, к 10-му классу мои казачата уже сносно разговаривали. Вся эта автономистская языковая политика стойко продержалась с 33-го (когда была отменена украинизация) до 53-го и продолжалась при мне, то есть до 1956-го. Дальше не знаю.

Я не думаю, что сопротивление было сознательно организовано взрослыми. Организацию выбили бы в 36 - 39 годах или в 1944-м, во время ликвидации неблагонадежных, сотрудничавших с немцами. Нет, никакой организации не было. Было казачье самосознание, которое дети чувствовали, - и детская самодеятельность. Дети сохранили господство украинского языка в кубанских станицах; дети же сохранили традиции травли евреев - там, где были евреи (в станице единственным евреем был я...).

Еврейские мальчики могли только обороняться. У них руки никогда бы не дошли до Олега Рождественского. Я чувствовал, что сцена фальшива, и доказывал это своим знакомым.

Примерно через полгода история разъяснилась. Александр Исаевич назвал две фамилии мальчиков, заводил травли: Люксембург и Штительман. Куда подевался Штительман, не знаю. Может быть, погиб на войне. Но Люксембург отделался штрафным батальоном (за пощечину старшему офицеру, сказавшему что-то про жидов) — и уцелел.

Я его сам пару раз видел. И вот моя знакомая решила поставить эксперимент: дала Люксембургу в руки роман «В круге первом», но без разрешения выносить из дому, и следила за выражением его лица. Когда дело дошло до воспоминаний Райтмана, Люксембург вскочил и сказал, что будь все это во Франции, он подал бы в суд и выиграл процесс о диффамации. Потому что фамилии его и Штительмана подлинные, а сцена выдумана. На самом деле, по его рассказу, все было иначе. Впрочем, подробности этой стычки между мальчишками - их собственное дело. Меня при этом не было. Не понимаю только одного:

как можно было больше 30 лет лелеять месть Люксембургу и вставить подлинные фамилии в вымышленную сцену.

Когда я написал письмо Александру Исаевичу, я всего этого еще не знал. Я просто почувствовал комплексы детских обид. У меня самого была куча комплексов, от которых я освободился. И я пытался убедить Солженицына проанализировать свои комплексы и не продолжать старые распри... Тут надо бы цитировать, но - увы! Я не успел даже перечитать черновики своих писем и ответное письмо Александра Исаевича. Осталось от всей переписки только несколько строк в протоколе обыска от 15 мая 1985 года, в том числе - одна строка с кусочком текста: «нашего общего дела» (так письмо кончалось).

Я ждал, что Александр Исаевич почувствует, с какой болью я пишу, мы непременно встретимся и от полемики перейдем к дружескому разговору. Читатель для меня - младший партнер. Я прислушиваюсь к его замечаниям, и много мест, вызывавших протест, были переделаны или вычеркнуты. Я даже не представляю себе работы без такого сотрудничества. Но у Александра Исаевича было другое самосознание. Ответ оказался резким, почти исключавшим возможность дальнейшего разговора. Про комплексы - ни слова. Видимо, эти комплексы было больно трогать и прикосновение к ним не допускалось. От национального вопроса отмахка: одни пишут, что в «Раковом корпусе» неверно изображены узбеки, а вы про евреев - некогда мне с вами разбираться! Я все-таки решил продолжать переписку, извинился за одну или две неточности в первом письме, не упоминал больше про комплексы и пытался убедить хотя бы только в одном: будем искать примирения наших позиций во имя «нашего общего дела» (кажется, общим делом кончалось именно второе письмо).

Но общего дела не было. Мы были несовместимы по складу ума, по складу характера. Сотрудничество для меня означало диалог, право оставаться при своем мнении, сознание вечно открытого вопроса, допускающего разные ответы; Александру Исаевичу такое условие было неприемлемо. Я не уверен, что он понял почему, — но он покорился очень сильному импульсу. В нем жил дух, подобный духу пророка Мохаммеда; мир для него резко делился на дар-уль-ислам (царство истины) и дар-уль-харб (царство войны с неверными). А я никогда не преклонялся перед авторитетом однозначной истины.

Желание быть безусловно, однозначно, непререкаемо правым настолько сильно, что заставляет Солженицына идти на риск скандала. Он отмахнулся от всех (не только моих) замечаний, что ночные воспоминания Ройтмана фальшивы. Исправления не были сделаны, во всяком случае, они не были сделаны своевременно. Разговоры о том, что было на самом деле, дошли до КГБ и были использованы в зарубежной полемике. Александр Исаевич ответил брошюрой «Сквозь чад». По новой версии, отношения с товарищами-евреями были у него превосходными. А лоб он разбил себе не в драке. Просто упал в обморок. Зачем же было мстить Люксембургу и Штительману, введя их фамилии в роман?

На этом, в 1985 году, я поставил точку и не собирался превращать ее в запятую и повторить (на новых примерах) то, что я уже писал в 70-е годы в ответ на «Раскаяние и самоограничение» (сб. «Из-под глыб», 1974). Солженицын безусловно пытается быть объективным. Охотно это признаю и в «200 годах». Но то, что он глубоко пережил, излагается страстно, полемически. Например, почему-то врезалось в сознание, что Богров, убийца Столыпина, - еврей. А что до того было 8 покушений, когда действовали русские террористы, - остается в тени. То есть $1/9 > 8/9$. Плохая математика.

Было глубоко пережито, что на лагпункте, где Солженицын тянул срок, верховодили три еврея. Только мимоходом сказано, что это крупные дельцы-теневики, с большими деньгами, оставшимися у родни и возможностью подкупать мелкое лагерное начальство. Теневик - особый тип. Отличие теневика от интеллигента важнее, чем отличие еврея от русского. Этническое решает в примитивных племенах, в развитых нациях решает тип. Хлестаков не

обязательно русский, он может быть евреем, армянином, итальянцем; в России были свои Гамлеты (не только в Щигровском уезде), свои Дон Кихоты. Для Солженицына важно, что евреи заставили арийскую женщину отдаться. По-моему, это комбинация теневиков, безразлично, кто они были по пятому пункту анкеты: евреи, грузины, татары, иногда и русские. Согласен, что русским не достает сплоченности: это они доказали в Казахстане. Но русские воры достаточно сплочены.

Недостаток места мешает мне привести рассказы Евгении Гинзбург, Тамары Петкевич, Ольги Шатуновской, как лагерная сволочь добивалась их благосклонности и с каким риском для жизни связано было сопротивление. Во всех трех случаях сволочь была нееврейской, и та сволочь, которая, с благословения начальства, добивала недобитых «троцкистов», тоже не была еврейской. Еврейская Молдаванка осталась только в рассказах Бабея. Еврей-бандиты исчезли. Может быть, по той же причине, почему евреи перестали попадать в стрелковые роты (в первую мировую войну - попадали). Комплектование бандитского мира и пехоты шло разными путями, но люди с высшим и даже средним образованием, так или иначе, получали другое направление. В одном случае стихийный отбор уголовного мира подхватывал второгодников, переростков, детдомовцев; в другом - сливки с маршевых рот снимали артиллеристы, связисты и т.п., а в стрелковые роты шел остаток, с образованием до 7 классов. Впрочем, в 1941 году в стрелки еще можно было попасть - добровольцем; я этот путь нашел. А вот евреев, попавших в законные воры, кажется, даже Солженицын, с его острым вниманием к еврейскому вопросу, не встречал. Я встретил одного, уже пожилого; он выглядел белой вороной. Тот страшный уголовный мир, который рисует Шаламов, - нееврейский. И спастись на Колыме можно было только, как Шаламов, - устроиться фельдшером.

В сознании Солженицына врезались три еврея-теневики (они и сегодня врезались в народную память, затмив всех прочих евреев). Три еврея, уже использованные в пьесе «Олень и шалашовка», теперь попали в центр главы «Евреи в лагерях ГУЛАГ-а», и к этому личному переживанию подобран Монблан фактов, очень разношерстных. Тут и Копелев, и Пинский. Хотя что общего с теневиками у Пинского, попавшего на инвалидный ОЛП и назначенного санинструктором за умение читать по-латыни? Что общего с ними у репрессированного профессора, назначенного счетоводом? Тут ведь были административные соображения. Вор смухлюет и сорвет лапу (взятку), а профессор побрезгует. Лагерное начальство считало контриков золотым фондом для подобных должностей и охотно шло навстречу интеллигентской солидарности. Другое дело КВЧ. Культурным воспитанием занимались не интеллигенты.

Солженицын видит только этническую солидарность и просто не замечает интеллигентской. В моем опыте этническая солидарность царилла только у прибалтов и западных украинцев, а у нас, зэков из «старого» Советского Союза, интеллигенция была своего рода субэтносом. Формировался этот субэтнос со времен Петровской реформы, отделившей европейски образованный слой от простонародья, и в лагере эта пропасть сохранилась. Я был принят, как свой, в группу интеллигентов, среди которых численно преобладали этнически русские. Лагерное простонародье нашей дружбы не понимало и толковало по-своему. У Лени Васильева находили нерусский тип лица, у Жени Федорова мать, приехавшая на свидание, - брюнетка и т.п. Восприятие мандельштамовской «тоски по мировой культуре» как еврейской сохранилось и сегодня и поддерживается мифом о жидо-масонах, полумифической теорией этносов, евразийством. Но я вышел из лагеря с чувством нерушимой интеллигентской солидарности, пересекающей этнические границы. К сожалению, солидарность поддерживалась общим давлением режима и без внешнего давления оказалась ненадежной. Сегодня я предпочитаю говорить, что надеюсь на Дон Кихотов.

Однако вернемся к тексту главы о евреях в лагерях. Мне кажется, нельзя валить в одну кучу заключенных и начальников, добровольно избравших карьеру чекиста. Наплыв евреев в

кадры ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ - факт истории. Факт печальный. Соломон Лурье в превосходной книге «Антисемитизм в древнем мире» предупреждал (в 1922 году!): «Евреи, пошедшие на работу в ЧК, плохо знают историю своего народа» . И подтвердил это рассказом о веренице погромов в Птолемеевском и Римском Египте, после трехсот лет верной службы евреев в ахеменидской администрации Египта. В народах диаспоры трудности выживания выработали особый тип, готовый на все, чтобы выжить. И в чекистские начальники в 20-е годы шли евреи этого типа, а репрессировали других (пока, в 30-е годы, расстреляли и расстрельщиков). Ставить рядом санинструктора Пинского с кадрами Ягоды так же неверно, как академика Лихачева с вологодским конвоем.

Этнический состав номенклатуры - это интересная проблема, я принял ее из рук Солженицына и по-своему разрабатывал; однако нельзя считать тезисом, допускающим обсуждение, демоническую фигуру Френкеля, просто вытарчивающую среди собранных в книге Александра Исаевича цифр и фактов: «О Нафтоле Френкеле, неутомимом демоне «Архипелага» , особая загадка: чем объяснить его странное возвращение в СССР из Турции в 20-е годы? Уже благополучно удрал из России со всеми капиталами при первом дуновении революции; в Турции уже получил обеспеченное, богатое и свободное положение; никогда не имел и тени коммунистических взглядов. И - вернуться? Вернуться, чтобы стать игрушкой ГПУ и Сталина, сколько-то лет отсидеть в заключении самому, - зато вершить беспощадное подавление заключенных инженеров и уничтожение сотен тысяч «раскулаченных» ? Что двигало его ненавистно злым сердцем? Кроме жажды мести к России не могу объяснить ничем. Пусть объяснит, кто может» (с.335-336).

По-моему, очень просто объяснить: жаждой достижений. И уже объяснено теорией Макклелланда; Березовский, видимо, не читая Макклелланда, заново ее открыл и напечатал в своей исповеди. Любопытно, что ни свидетельских показаний, ни социологического, культурологического анализа, предшествующего образу Френкеля, нет. Все вырвалось из сердца.

Между тем, группа сотрудников зарубежного исторического журнала «Память» опросила подчиненных Френкеля по его последней должности, и они рисуют совершенно другой образ. В вагоне командующего железнодорожными войсками ни одного кресла, только венские стулья, в том числе для самого генерал-лейтенанта. Никакого *злого* сердца, скорее *никакого* сердца. Люди для него пешки, и жизнь Филемона и Бавкиды его не волнует, но и садизма, мстительности (наподобие сталинских) - ни грамма. Евгения Гинзбург рисует подобного начальника в своих колымских воспоминаниях. Это тип, а не демоническое исключение, тип, неоднократно описанный, от Фауста-осушителя болот - до прозаического Домби.

Безбедная жизнь в Константинополе для таких людей - скука. Френкель не эпикуреец, его жизнь - Дело. Почувствовал запах начинающейся великой стройки в России и рванулся туда, несмотря на риск ареста, и добился своего - вписался в историю сталинских строек и

в историю Отечественной войны, восстанавливая разрушенные железнодорожные пути впритык за наступающей армией.

Я наблюдал этот тип в его русском варианте - лейтенанте Кошелеве, начальнике ОЛП-а №2 Каргопололага; беспощадный в достижении деловой цели, но совершенно не мстительный, не демонический. В своих «Записках гадкого утенка» я заметил, что без таких жестких людей не строилась ни экономика петровской империи, ни советская экономика сверхдержавы. «А по бокам-то все косточки русские» - ложились и в мирный XIX век, и в сражениях войны, когда холодно беспощадный Жуков исполнял сталинские приказы «не считаясь с потерями» . Или когда послал дивизию в учебное наступление после взрыва *настоящей* атомной бомбы.

Демонизация строителей (каналов, железных дорог и прочего) случалась и в истории (например, - в староверческом мифе о Петре-антихристе), но для Солженицына важна еще детская травма, физическая (знак на его лбу) и психическая. Свидетели (Люксембург, Симонян) расходятся в частности (воспоминания за десятки прошедших лет потеряли четкость), но сходятся в главном: началось с дразнилки «жид пархатый, говном напхатый» . Случай очень банальный. Слово «жид» носилось в воздухе уличных перебранок. В том же 1930 году Зина Миркина, в возрасте четырех лет, рассердившись, обозвала свою любимую няню, Матрену Клопову, «жидовской мордой» . Об этом семьдесят лет вспоминают со смехом. Откуда такой сыр-бор в Ростове? Может быть, в словах Сани прорвалась недетская страстность, недетская озлобленность?

Понять ее можно. Мать Сани подпадала под жестокую дискриминацию по пункту шестому анкеты — «социальное происхождение» . Саня с ней голодал, а считался «из эксплуататоров» , из буржуев. Между тем, врачи или адвокаты в 20-е годы неплохо жили, могли нанимать нянь и кухарок и считались трудящимися, хотя и не первого сорта. Я, как сын служащего, чувствовал свою второсортность и страдал от этого, но утешался отменой дореволюционных ограничений; Саня попадал в третий сорт и не выиграл решительно ничего. Он не знал, что треть евреев была лишена избирательных прав и дети их, при попытке попасть в ВУЗ, так же не допускались (а проникнув обманом, исключались), как дети русских дворян и купцов. Он видел детей преуспевающих родителей, произносивших тирады о пролетарском интернационализме, и злился. Все это просто, понятно и в 12 лет простительно. Так же как реакция тогдашних интернационально воспитанных детей на слово жид. Школа воспитывала отвращение к этому слову. Но болезненная память о детском конфликте - плохая подготовка для роли беспристрастного арбитра. Величие и сила Солженицына неотделимы от его страстной односторонности. Победить ее он не мог.

«Раскаяние и самоограничение» («Из-под глыб» , 1974) начато было прекрасными словами — и на второй же странице прорвались страсти; далее выходило, что в истории русско-польских отношений русские чаще всего обиженная сторона, а поляки - обидчики. Я вспомнил кое-что прочитанное и показал, что с польской точки зрения все можно пересказать иначе (см. «Сны земли» , Париж, 1984, часть шестая, «Сон о справедливом возмездии» , глава «Вокруг раскаянья и самоограничения»). Тогда же я высказал мысль, что пересчитывание и взвешивание взаимных обид - плохой путь к миру, точных весов здесь нет. Лучше перечеркнуть эмоциональную память взаимной ненависти.

Мне не хватило положительных примеров, как это делается. Вспоминались только ашанти в Западной Африке. Объединившись в один народ, они просто запретили былины о взаимных распрах. С появлением писаной истории этот путь закрылся, но есть другие пути.

Преодоление франко-немецкой ненависти началось в 1946 г. с приглашения немецкой делегации на конференцию в Швейцарии. Когда немцы вошли, Ирэн Лор (у которой сына мучили в гестапо) встала и вышла, за ней - другие французы и стали готовиться к отъезду. Встретив г-жу Лор в коридоре, Фрэнк Бухман, организатор конференции, спросил ее: «Как вы думаете строить Европу без немцев?» Г-жа Лор заперлась в своем номере и не выходила из него 36 часов. Потом она поднялась на трибуну и попросила извинения у немцев за то, что слепо их ненавидела. Немцы приготовились к другому. Они ждали обвинений и приготовились перечислять встречный список обид, начиная с политики кардинала Ришелье, сознательно разжигавшего тридцатилетнюю войну, когда она немного затихала. Выступление Лор их ошеломило и повернуло к покаянию.

Дождаться, когда весь народ покается, нелепо. Этого никогда не бывает. Начинает один человек, освободившийся от страха перекаяться и повредить национальным интересам. А дальше - либо этот пример получает мощную поддержку, либо инициатива гаснет. Бухман сумел превратить выступление г-жи Лор в исторический поворот. Были организованы

поездки четы Лор по всем немецким землям. Единой Германии тогда не было, но успех в «народной дипломатии» предрешил ее курс. Встречи на государственном уровне (Шуман - Аденауэр, де Голль - Аденауэр) стали возможны благодаря сдвигам в общественном мнении. А сейчас дошло до проекта восстановить единую державу Карла Великого.

Другой пример - примирение англичан с повстанцами мау-мау в Кении. Один из английских фермеров был принесен в жертву местным богам. Его дочь долго не могла прийти в себя от ненависти и жажды мести, но потом ее христианская вера оказалась сильнее. Установив контакт с лидерами мау-мау, она заговорила с ними так, как они не ожидали. Бог ей помог - компромисс между фермерами Белого Нагорья и местными племенами был достигнут. Несколько лет спустя, в Швейцарии, в перерывах между заседаниями конференции, один из собеседников г-жи Гофмайер признался ей, что он был членом совета мау-мау, принявшего решение о жертве. Но это уже было историческим прошлым.

Хочется упомянуть и записку, найденную в одном из немецких лагерей смерти и опубликованную «Зюддойче цайтунг». Эту записку безымянного еврейского узника часто цитирует Антоний Сурожский: «Мир всем людям злой воли! Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию... Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе! Положи на весы, в защиту палачей, доносчиков, предателей и всех людей злой воли - мужество, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу... Положи все это, Господи, перед Твоими очами в прощении грехов, как выкуп, ради торжества праведности, прими во внимание добро, а не зло! И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. А когда все кончится, даруй нам жить как людям среди людей, и да возвратится на нашу исстрадавшуюся землю мир - мир людям доброй воли и всем остальным» (цитирую по перепечатке в книге «Благая весть», Москва - Санкт-Петербург, 2000, с.219).

Разумеется, были и другие факты. Была попытка отравить хлеб в лагере для пленных эсесовцев и даже пустить какую-то эпидемию в Германии. Но призыв безымянного цадика был услышан и сыграл свою роль в формировании политики ФРГ.

Ни один народ не состоит из одних праведников, и народ диаспоры особенно резко делится на умеющих жить, как Бог велел, и умеющих выживать. Но мне хочется задать вопрос Александру Исаевичу наподобие того, который Бухман задал Ирэн Лор: как вы думаете строить Россию без диаспоры, какая она есть, с ее праведниками и ее грешниками?

Роль диаспоры в глобальных центрах растет. Если Россия восстановит свое величие, в Москву будут стремиться не только русские. И даже сейчас, когда евреи и немцы уезжают - свято место не остается пусто. Исчезнет Фридман - его место займет Аликперов или еще кто-то. Еврейская диаспора, по крайней мере, была склонна к ассимиляции и дала блестящую череду поэтов, художников, музыкантов, обогативших христианские культуры, в том числе русскую. Я не встречал людей, которым мешают витражи Шагала в восстановленных немецких церквях. Я не знаю лучшего исполнения скрипичных партит Баха, чем у Менухина, и какой-то неуловимо еврейский акцент в переливах его скрипки не помешал присвоить ему звание английского лорда. На вершинах русской культуры XX века евреев очень много. А глобальные претензии еврейства существуют только в воображении читателей «Протоколов сионских мудрецов». Боюсь, что больше трудностей будет с реальной политической идеей панисламизма. Она исчезает только в мечтаниях евразийства.

Как растопить дух отчуждения и ненависти в более широком, более глубоком духе любви, осязаемом в недрах всех великих вероисповеданий и культур? Как преодолеть отчуждение и ненависть, которые чужак с его повышенной энергией выживания вызывает у местного населения? Как можно научиться терпеть чужое и превращать чужое в свое? Только Бог знает, как надо, но это знание не укладывается в простые идеи, принципы, лозунги, и приходится каждый день заново искать Божий след, след любви. Есть только две наибольшие заповеди, и обе - о любви. Все остальные заповеди - как не надо. И не надо чересчур надеяться на свои способности арбитра, пересчитывая чужие грехи.